

У ИСТОКОВ РЕВОЛЮЦИИ

(перечитывая «Окаянные дни» Бунина)

1.

Мудрая поговорка гласит: «из народа, как из дерева, — и дубина, и икона». Поговорку эту приводит Бунин в своих «Окаянных днях» и справедливо добавляет от себя: «Да, в зависимости от обстоятельств, от того, кто это древо обрабатывает: Сергей Радонежский или Емелька Пугачев».

Но после позорных весны и лета 1917 года настал на Руси такой невиданный ужас, перед которым злодеяния Пугачева и Разина показались всем невинной детской сказкой. Правду надо сказать до конца: освобожденный февральскими деятелями от «царского ига», ставший вполне суверенным, народ откровенно предпочел всему, в том числе и хлестаковскому «февралю», разбойный «октябрь». И понадобились долгие годы дьявольского опыта, сущего ада на русской земле, чтобы все население России в целом отшатнулось от своих социалистических мучителей.

Вспоминая о кровавом октябрьском перевороте, законном детище многоречивого «февраля», Бунин пишет в «Окаянных днях»:

«Каин России, с радостным безумным остервенением бросивший за тридцать серебрянников всю свою душу под ноги дьявола, восторжествовал полностью.

Москва, целую неделю защищаемая горстью юнкеров, целую неделю горевшая и сотрясавшаяся от канонады, сдавалась, смирилась... И не было дня во всей моей жизни страшнее этого дня, — видит Бог, воистину так!

Вечерел темный, короткий ледяной и мокрый день поздней осени, хрипло кричали вороны. Москва, жалкая, гряз-

ная, обесчещенная, расстреленная и уже покорная, принимала будничныи вид...

Я постоял, поглядел — и побрел домой. А ночью, оставшись один, будучи от природы весьма не склонен к слезам, наконец заплакал и плакал такими страшными и обильными слезами, которых я даже и представить себе не мог».

А позднее, вслед за Буниным, заплакала и вся Россия. Плачет она кровавыми слезами и до сих пор. Но как же случилось все это? И где первопричина, где истоки величайшего в мире зла, которое привычно и потому обесцвечено называем мы русской революцией?

До конца понятным и ясным пребывает одно: страшное, ни с чем не сравнимое революционное зло могло осуществиться у нас лишь после того, как имперская идея, завещанная нам Петром, померкла и наконец погасла в умах и сердцах людей, непосредственно находившихся у власти. Это померкание, погасание созидавшей Россию идеи началось с шестидесятих годов прошлого столетия совсем не по причине проводимых тогда правительством либеральных реформ, нужных и разумных, а в прямой связи с так называемым «освободительным движением» и, главное, в связи с идущими справа славянофильскими народническими идеями, отравившими постепенно лучшие государственные умы.

Во главе «освободительного движения», не только не имевшего ничего общего с либеральными реформами, проводимыми сверху, но крайне враждебного им, надо по справедливости поставить праотца русского большевизма, тупого, малограмотного Чернышевского, любимого ставленника нигилистов, угодливо одобряемого из малодушия многими тогдашними барами-либералами, заслужившими от Щедрина меткую кличку — «применительно к подлости». Впрочем этой кличкой Щедрин невольно определил и свой собственный либерализм, не препятствовавший ему мирно сотрудничать с Чернышевским и другими нигилистами в «Современнике» Некрасова.

Правдиво говорить о писаниях и деяниях Чернышевского это значит обнаруживать сущность «освободительного дви-

жения», это значит касаться истоков и русского атеистического народничества, и большевизма одновременно.

Конечно, к литературе, и особенно художественной, Чернышевский никакого отношения не имел, точнее не должен был бы иметь. Но уж так печально сложилась во второй половине девятнадцатого века русская действительность, что истинные мастера и художники слова в лучшем случае лишь терпелись нами, искупая свое служение искусству либеральными позами и дешевой демагогией. Непокорных поэтов и писателей сообщая предавали анафеме, подвергали интеллигентской цензуре, невежественной и беспощадной, замалчивали, погружали в забвение. Так поступили победоносные интеллигенты с Писемским, Случевским, Лесковым, Константином Леонтьевым. Кто помнит теперь романы, рассказы, и театральные пьесы Писемского? А между тем, одна «Горькая Судьбина», благоговейно отмеченная Инокентием Анненским, подлинная социальная драма, написанная рукою великого мастера, принесла бы ее автору, родись он в любой западно-европейской стране, неувядаемую славу. Но Писемскому мы предпочли примитивного и вульгарного Горького, Константину Леонтьеву — Чернышевского, бездарного, бесильного оформить словесно даже самые элементарные свои измышления. Чего стоит, хотя бы, ставшее знаменитым заявление Чернышевского:

«Я нисколько не подорожу жизнью для торжества своих убеждений, для торжества свободы, равенства, братства и довольства, если только буду убежден, что мои убеждения справедливы, и восторжествуют они, даже не пожалею, что не увижу дня торжества и царства их, и сладко будет умереть, а не горько, если только буду в этом убежден».

Все написанное и напечатанное Чернышевским, — а напечатано им целых 600 печатных листов, — по языку, стилю и убожеству домыслов, ничем не отличается от приведенного мною отрывка. И подумать только, что этот человек был учителем гимназии, преподавал детям русский язык, учил их последовательно думать, развивал в них вкус и чувство слова! А роман Чернышевского «Что делать?» — с которым

с литературной и общекультурной точек зрения решительно нечего делать, — читался запоем русской молодежью, был настольной книгой наших дедов и неизменно всеми превозносился, вплоть до всероссийской катастрофы. За что? За открытую проповедь коммунизма, разврата, безбожия, за ненависть к прошлому России, к ее истории, обычаям и верованиям. Стоит вспомнить хотя бы о этой всеобщей любви к словам и деяниям Чернышевского, чтобы понять совершенную неизбежность, роковую неотвратимость нашей гибели. Странно было не заметить цинизма Чернышевского, его злобы и стремления к разрушению всего. Но в том-то и дело, что злая воля к гибели полностью овладела Россией, начиная с половины прошлого века. В лице Чернышевского русские люди поклонялись своему желанному будущему, правда, несколько туманно предстоявшему их воображению. Ведь вряд ли кто-либо из русских интеллигентов взялся бы с точностью определить истинное содержание проповедей Чернышевского. Первый с трезвостью и ясностью исключительной сделал это Ленин. «Чернышевский, — говорит он, — был социалистом, который мечтал о переходе к социализму через старую, полуфеодальную крестьянскую общину, который не видел, и не мог в шестидесятые годы прошлого века видеть, что только развитие капитализма и пролетариата способно создать материальные условия и общественную силу для осуществления социализма. Но Чернышевский был не только социалистом-утопистом, он был также революционным демократом, он умел влиять на все политические события его эпохи в революционном духе, проводя через препоны и рогатки цензуры идею крестьянской революции, идею борьбы масс за свержение решительно всех старых устоев и властей».

Все крепко стоит на месте в этом определении Лениным старого русского большевика, инстинктом, ощупью подготавливавшего в России осуществление большевизма. Некоторая элементарность социалистических домыслов Чернышевского объясняется его незнанием сочинений Маркса и Энгельса. Зато эти канонизированные большевиками столпы социализ-

ма по-своему высоко ценили Чернышевского. Маркс писал о нем: «Это великий русский ученый и критик, а его труды делают действительно честь России». А Энгельс добавляет: «Россия — страна, выдвинувшая двух мыслителей, масштаба Добролюбова и Чернышевского, двух великих социалистических Лессингов».

Так восхваляли Чернышевского, а по пути и Добролюбова, вожди всемирной революции, профессиональные подстрекатели народов к убийствам и насилиям. Удивительного в этом нет ничего. Гораздо менее понятно восхищение Чернышевским, проявленное простыми и добрыми русскими людьми, а вслед за ними «храмом науки» — Петербургским университетом, безоговорочно одоббившим диссертацию на звание магистра, опубликованную этим нигилистом в 1853 г. Науковерие и далеко не научный материализм к этому времени уже окончательно успели поработить «передовые умы российской профессуры». Чернышевский отрицал сущность искусства, красоты и религии, и этого одного было достаточно для признания его первоклассным ученым, мыслителем и писателем.

Вот, например, определение Чернышевским возвышенного и прекрасного:

«Возвышенное есть то, что гораздо больше всего, с чем сравнивается нами. Возвышенный предмет — предмет, много превосходящий своим размером предметы, с которыми сравнивается нами. Возвышенное явление — которое гораздо сильнее других явлений, с которыми сравнивается нами». (Сбор. соч. т. X, ч. II-я, стр. 97)

Этот жалкий домысел, столь малограмотно и неряшливо выраженный, «великий русский ученый и критик» пытается подкрепить примером. Оказывается, «возвышенное не в перевесе идеи над явлением, а в характере самого явления... Монблан и Казбек — величественные горы потому только, что гораздо огромнее дюжинных гор и пригорков».

Вообще, величественное и возвышенное определяется Чернышевским по принципу не качественному, а количественному. Свое рассуждение о возвышенном он увенчивает

поистине высоко комическим заявлением: «Отелло возвышен потому, что ревнует гораздо сильнее дюжинных людей... Гораздо больше, гораздо сильнее — вот отличительные черты возвышенного».

Итак, если кто-либо расшибет кому-либо физиономию, гораздо больше и гораздо сильнее, чем расшибали до сих пор, он совершит поступок, величественный и одновременно возвышенный? По мысли Чернышевского выходит не иначе.

Рассуждения Чернышевского о красоте и возвышенном настолько возмутили Тургенева, что, изменив своей обычно лукавой тактике, он написал Краевскому откровенное письмо: «Спасибо Вам за то, что у Вас отделали гадкую книгу Чернышевского. Давно я не читал ничего, что бы меня так возмущало. Это хуже, чем дурная книга: это дурной поступок».

Тургеневу вторил тогдашний министр народного просвещения Норов, упрекавший декана историко-филологического факультета Устрялова: «Как могли Вы пропустить диссертацию Чернышевского? Ведь это вещь невозможная. Ведь это полнейшее отрицание искусства. Помилуйте, Сикстинская Мадонна-итальянка-натурщица! К чему же сводится искусство?»

Но тщетно бранился Тургенев и возмущался Норов, — деканы подобные Устрялову, и мыслители в духе Чернышевского легко и всецело восторжествовали в России...

«Позвольте, как это там у Гегеля? «Возвышенное есть проявление абсолютного; искусство отражает высшую реальность и более истинное существование, чем наша обыденная действительность»... Да за такие выдумки расстрелять мало! То ли дело: «возвышенное есть то, что гораздо...», и т. д.

По утверждению Чернышевского, «мысль материальна и ничем не отличается от любой химической реакции», а искусство и в частности литература «должны всегда руководствоваться критическим реализмом, просвещающим умы и избличающим художественными средствами строй насилия и обмана». Справедливым становится после этого краткое заявление Ленина: «своими подцензурными статьями Чернышевский умел воспитывать настоящих революционеров».

Но какие же качества необходимы настоящему революционеру? Безбожие, неспособность воспринимать прекрасное, завистливость и ненависть ко всему прошлому, словом, очень низкий уровень духовного и душевного развития. Этими свойствами с детства и до самой своей смерти отличался Чернышевский, с героизмом тупости переносивший ссылку, лишь бы увидеть на старости лет торжество своих «идеалов», — крушение церкви, искусства и ненавистного Российского Государства.

Как и все, по выражению Достоевского, «русские мальчики», Чернышевский чрезмерно торопился, — осуществления своих «идеалов» увидеть при жизни ему не удалось.

Царство «русских мальчиков» общими нашими усилиями наступило несколько позднее, а именно в феврале 1917 года.

2.

Правительство Александра Второго долго, слишком долго, переносило нигилистические писания Чернышевского и его сподвижников, не принимая мер к пресечению все разраставшегося безобразия. Такое попустительство можно объяснить только одним: тлетворное дыхание французской революции успело к 1860 году в какой-то степени поколебать веру в имперскую идею даже в людях, призванных править Россией. Поистине правая рука тогдашнего правительства не знала, что делала левая. Такое положение, весьма похвальное с точки зрения христианской, в государственном отношении было не чем иным, как болезненным раздвоением ума, расщеплением имперского сознания, созидавшего Россию.

Спору нет, царствование Александра Второго во многом величественно. Чего стоят, хотя бы, судебные преобразования и раскрепощение крестьян, к сожалению не доведенное до конца. А успешное завоевание Кавказа, столь справедливо названное *замирением* самими покоренными народами! Эти старые, своевольные и гордые национальности очень скоро поняли, что присоединение к великой империи, стоящей вы-

ше каких бы то ни было племенных соображений и претензий, совсем для них не унижительно, но, напротив того, спасительно и благотворно. Российский имперский дар к духовному обмену веществ был по достоинству оценен многообразными, религиозно глубоко культурными кавказскими национальностями, к тому же сердечно тронутыми рыцарственным пленением Шамиля.

Но, наравне со все еще могучим имперским размахом и подлинным христианским великодушием, проявлялась непростительная слабость по отношению к обнаглевшим народникам, левого и правого толков, от нигилистов и подлых подпольных заговорщиков до славянофилов включительно. Более того, иные крупные представители власти открыто сочувствовали славянофильским воззрениям, поощряя слащаво-сентиментальные идиллии бытового исповедничества, вреднейшую проповедь великорусской избранности. Злокачественные испарения славянофильской пропаганды отуманили даже очень умные головы. Имперские принципы снижались. Сам император подчас мнил себя старо-московским царем, призванным блюсти отжившие великорусские традиции. В бюрократической и придворной среде, дотоле трезвой и деловой, стало замечаться особого рода заболевание: туманное верование «в мужика вообще, что смиреньем велик». Именно это неопределенное верование, перешедшее постепенно в подобие какой-то уродливой веры в единственно полноправный черный народ, и привело Распутина в царский дворец. Пока же, в ожидании такого полного торжества народнических идей, правительство Александра Второго, под лозунгом славянского «мужика вообще», повело Балканскую войну 1877 года. По официальной версии поддержанной без малого всем русским обществом; смиренный русский мужичок-славянин выступал на помощь своим младшим братьям-славянам против турецких угнетателей. Впервые со дня существования Империи, великодержавный Петербург вел войну, руководствуясь официально и громогласно племенными принципами. Это роковое заблуждение подало повод внешним врагам России обвинить ее в служении *бессмысленной идее панславиз-*

ма. Но особенно разлагающей оказалась официально пущенная сверху славянофильская пропаганда тем, что она пробудила туземные инстинкты, не только у великороссов и малороссов, но и народов самых отдаленных украин России. Отсюда зародились у нас различные сепаратистские стремления, дотоле тщетно раздувавшиеся подпольными героями, сторонниками самоопределения народностей.

Славянофильское безумие охватило власть имущие столичные круги и из выдающихся людей того времени только двое оставались в стороне от зловещих племенных самоупоений: Лев Толстой, эгоистически предававшийся тогда семейному счастью, уютным помещичьим идиллиям, и Константин Леонтьев, сразу же трезво оценивший положение. Предвидя революционную катастрофу, к которой, по его мнению, неизменно должна была привести подобная измена имперской идее, Леонтьев писал:

«Национальное начало, лишенное особых религиозных оттенков и форм, в современной, чисто племенной наготе своей, есть обман. Племенная политика — есть одно из самых странных самообольщений XIX-го века. Национального, в действительном смысле, в племенном принципе нет ничего». «Панславизм это идеал, современно эгалитарно либеральный; это стремление быть, как все. Это все та же общеевропейская революция». «Самый жестокий и даже порочный, по личному характеру своему, православный епископ, какого бы он ни был племени, хотя бы крещеный монгол, должен быть нам дороже двадцати славянских демагогов и прогрессистов». «Любить племя за племя — натяжка и ложь. Истинно национальная политика должна и за пределами своего государства поддерживать не голое племя, а те духовные начала, которые связаны с историей племени, с его силой и славой. Политика православного духа должна быть предпочтена политике славянской плоти... Национальное начало вне религии не что иное, как начало эгалитарное, медленно, но зато верно разрушающее». «Люди, освобождающие или объединяющие своих единоплеменников в XIX веке, хотят чего-то национального, но достигая своей политической цели, они произ-

водят лишь космополитическое, т. е. нечто такое, что смешивает все более и более этих освобожденных или свободно объединенных единоплеменников с другими племенами и нациями в общем типе прогрессивного европейского мещанства». «Что такое племя без системы религиозных и государственных идей? За что его любить? За кровь? *И что такое чистая кровь? Бесплодие духовное!* Все великие нации очень смешанной крови... Идея национальностей чисто племенных в том виде, в каком она является в XIX веке, есть идея, вполне космополитическая, антигосударственная, противорелигиозная, имеющая в себе много разрушающей силы и ничего созидającego, наций культурой не обособляющая; ибо культура есть не что иное, как *своеобразие*».

Одиноким голосом Константина Леонтьева так и остался не услышанным. Фальшивые панславянские лозунги, по существу революционные, продолжали углублять племенную рознь в Российской Империи, весьма далекой, по своему человеческому составу, от всего славянского, ибо даже великороссов и малороссов, крайне смешанных по крови, можно причислять к славянам лишь с превеликой натяжкой.

Славянофильские теории, в начале XIX-го века занесенные в Россию, «из Германии туманной» и обработанные на русский лад исключительно одаренными людьми, вначале принимались большинством за благодушную обрядово-бытовую идиллию, мечтать о которой было очень удобно и приятно, лежа на мягком диване, в стеганном халате и теплых туфлях, особенно после длительного, как говорится у Гоголя, «заезда к Сопикову и Храповицкому» — после мертвецкого сна на боку, на спине и во всех иных положениях, с захрапами, носовыми свистами и прочими принадлежностями».

Какой-нибудь раскосый Сысой Пафнутьевич, а за ним и некий «гордый друг славян», рыжий Макдональд Карлович, о которых никто и ничего до сих пор не слыхивал, авторитетно возвышали голос в защиту всего исконно славянского, требуя примерной казни для предательского Чаадаева, врага национальных реликвий, кремлевских Царь-Колокола, никогда не звонившего, и Царь-Пушки, никогда не стрелявшей.

Поставленное в строгие грани Императором Николаем Первым, славянофильство долгое время казалось очередным салонным домыслом, порожденным талантливыми людьми для всеобщего развлечения, но стоило Александру Второму несколько ослабить правительственный надзор, как оно тотчас же, наравне с нигилизмом и безбожным народничеством, разрослось в нечто безликое, грозящее гибелью Российскому Государству.

Для успешного ведения Балканской войны 1877 года, русское правительство, вполне одобряемое монархом, захотело воспользоваться славянофильскими идеями и тем наметило закат Российской Империи. Стилизованное народничество, приукрашенное внешней обрядностью и былинными рассказами о сусально-православном мужичке-простачке, докатилось, наконец, до царского трона. Так непоправимая идеологическая ошибка задолго предуготовила Распутину торжественный доступ ко дворцу.

Появление в государстве правых и левых сообществ, легально допускаемых правительством политических партий, есть признак распада, утраты духовной органичности. Цельное, в себе нерасчленимое, либерально-консервативное начало, присущее правящей, ведущей элите, возможной только при монархии, снижаясь до так называемой общественности, распадается, перестает быть духовно-идейным организмом, превращается в дробь внежизненных партийных абстракций, дурных отвлеченностей, мертвых теорий, при всяком удобном случае, то справа, то слева, насильственно навязываемых жизни живой.

Политические партии, почти открыто терпевшиеся правительством, образовались у нас впервые в царствование Императора Александра Второго, причем, благодаря русской склонности к анархии и самоистреблению, либерально-левые и особенно крайне-левые настроения очень скоро возобладали над правой неподвижной рутинной. Сословные грани стирались, началось медленное смещение отстоявшихся традиций и верований, неминуемо ведущее к всеобщему смеше-

нию и расхищению культурных ценностей. Не только у дворянства и у купечества, но и у самого правительства, ослабла вера в имперскую идею, всегда бывшую в России, в своих скрытых религиозных возможностях, светским преломлением вселенского православия, его эманацией. Неистовая левая болтовня раздуваемая писаниями демагогов в течение двадцати пяти лет, довела нас, наконец до первого царубийства. Я говорю «нас», ибо страшное преступление 1881 года происхождения не дворцового, но общественного, обще-русского, и общую вину в какой-то мере разделяет с нами даже сам убитый Император, слишком часто проявлявший прекраснодушие, при всех обстоятельствах вредное, а в государственном отношении совершенно недопустимое. Если левая пропаганда сумела в те годы объединить всех убийц по убеждению, всех глупцов, невежд и безбожников, а правая рутина умудрилась кое-как пособрать все мертвые души, всех отживших и неживших, то розовое прекраснодушие чистого идеализма успело неведомым образом отуманить и одурманить даже лучшие головы.

Трезвым и зорким до конца оставался тогда лишь один Константин Леонтьев.

3.

Под воздействием революционного подполья, нигилистических писаний и славянофильской народнической пропаганды, поощряемой сверху, русские люди, убийством Александра II-го, переступили черту, последнюю запретную грань, отделявшую их от неизведанной пропасти. Правительству Александра III-го, казалось бы, оставалось только бить отбой, опираясь при отступлении на все еще живую имперскую идею, или валиться в бездну со все возрастающей быстротой. Александр III нашел однако третью возможность ни губительную, ни спасительную, но до поры до времени замораживавшую. Царь прибегнул к тактике неподвижного пребывания на месте. Живой и целебной имперской консерватив-

ности, в трудную минуту всегда спасавшей положение, он предпочел откровенную, типично партийную правую реакцию.

Все застыло, отяжелело и как бы приросло к земле. Памятник, поставленный впоследствии Александру Третьему в Петербурге, несмотря на всю его творческую бескрылость, а может быть именно благодаря ей, очень верно отразил серые, неподвижные будни нашей правой реакции. Эта мертвенная неподвижность сказалась, между прочим, на всех отраслях искусства, всегда связанного не явно и прямолинейно, а незримо и таинственно, со своею эпохою. На русскую литературу, поэзию, музыку, живопись и архитектуру этого времени легла печать безвкусия и бесстильности. Любопытнее всего, что все образованные русские люди, достигшие к восьмидесятым годам приблизительно двадцатилетнего возраста, так навсегда и остались, за редчайшими исключениями, слепы и глухи к религии и искусству. С одной стороны, воспринятые ими от предыдущего поколения нигилистические и народнические идеи, с другой, осенившее их скудную молодость реакционное болото, с его возродившимся бытовым исповедничеством и грубым натурализмом псевдо-искусства, окончательно подавили в них религиозные и эстетические чувствования. В этом отношении весьма характерны и поучительны «Очерки по истории русской культуры» Милюкова. Безнадежная бездарность и дикое, чисто нигилистическое самомнение этого журналиста, публициста и политика оказались в данном случае вполне «приличны песне». Язык или вернее жаргон, на котором написаны «Очерки», и все сказанное в них о религии, искусстве, истории и государственном созидании, принадлежит по праву не одному Милюкову, но без малого всему его поколению, развращенному нигилизмом и обесцвеченному в молодые годы безыдейной правой реакцией, показавшей свою полную неспособность к какому бы то ни было духовному движению. Словом, в «Очерках» Милюков явил собою некую типичную для его современников помесь Чернышевского с околодочным надзирателем, сочетание скверной насмешки инад религией и ве-

ковыми устоями, с затаенным желанием пристукнуть всех инакомыслящих.

В царствование Александра Третьего, в среде более или менее образованного русского общества, скрытно, исподволь, нарастали революционные вождедения, а правительственными сферами по-прежнему владели смутные славянофильские настроения и реакционная боязнь всякого творчества.

Правительственный безыдейный застой, обедняя и обесцвечивая духовную жизнь российской нации, нисколько не мешал все растущему экономическому благосостоянию страны, что чрезвычайно характерно для предреволюционных периодов. Точно такое же материальное благополучие наблюдалось при Людовике XVI-м в годы, предшествовавшие французской революции. Вообще, настоящая революция, в отличие от смуты и бунта никогда не возникает и не может возникнуть из неудовлетворенности материального порядка. Она зарождается в безрелигиозной пустоте, когда правящие страной государственные круги теряют веру в духовную зиждительную идею, до того ими же самими насаждаемую и прививаемую сверху.

Если природа не терпит пустоты, то не выносит ее и душевный мир человека. «Сердца братьев», не оплодотворяемые более правящей элитой, изменившей идее, становятся восприимчивы к *исевдоидее*, и к ним легко находят дорогу шарлатаны от науки, искусства и политики. Тогда произведения вроде романа Чернышевского «Что делать» и «Очерков» Милюкова заполняют образовавшиеся духовные пустоты своими баснями и лжеучениями, враждебными религии и творчеству. Тогда вступают в силу французские энциклопедисты, истинные делатели революции, куда более изощренные во лжи и клевете, чем наши доморощенные вольнолюбцы, легковесные русские мальчишки. Но все же любого русского папильона от либерализма, несмотря на его идейную невесомость, всегда хорошо характеризовали строки из эпиграммы Дениса Давыдова, к сожалению, в свое время направленные автором не по адресу:

Томы Тьера и Рабо
Он на память знает
И, как вольный Мирабо
Вольность прославляет.

А, глядишь, наш Мирабо
Старого Гаврило
За измятое жабо
Хлещет в ус, да в рыло,

А, глядишь, наш Лафайёт,
Брут или Фабриций,
Мужичка под пресс кладет
Вместе с свекловицей.

Или, глядишь, сдает идеалист, по примеру героя Достоевского, Степана Трофимовича Верховенского, своего крепостного человека в солдаты, в уплату за карточный долг. Или же, наконец, за упразднением крепостного права и вышедших из моды жабо, занимается он подобно некоему свободолобивому депутату Государственной Думы, незаконными торговыми сделками и денежными спекуляциями. И уж тут не скоро заметишь в чем дело, ибо внешний облик либерала-спекулянта предреволюционной формации бывает зачастую безупречнее и возвышеннее, чем у самого опытного международного афериста.

В царствование Александра Третьего правая реакция образовала немало душевных пустот и провалов. Они множились под напором сильной, но безыдейной воли самого Царя. Эта воля, принуждавшая всех к неподвижному пребыванию на месте, спиною к Европе и лицом к Азии, могла, во исполнение славянофильских заветов, лишь временно охранить страну от революционной гибели.

Душевный мир человека жаждет развития и движения. Это знал Петр Великий, создатель Российской Нации, и этого не ведало правительство Александра Третьего, остановившее и в сущности отменившее дело Петра.

По слову Лейбница, жизнь есть ряд неустанных рождений и развитий (development), а смерть не что иное, как уменьшение, сворачивание (enveloppement). Александр Третий сворачивал свиток величественных деяний, развернутый некогда Петром и его верными последователями, он упразднил Империю и заменил ее захолустным азиатским царством, гробом имперских стремлений. Царь не мог забыть ужасной смерти своего отца, а с нею и гибели священного всероссийского символа отцовства. Спасая монархию, он остановил всякое движение, в надежде предохранить страну от окончательной революционной катастрофы. Личной воли на это у Александра Третьего хватило с избытком, но ему недоставало главного — творческого дара и духовности. Ничем не одухотворенные усилия Царя были тщетны, и русский Ариман — злой бог насилия и самоистребления — уже выслеживал свою жертву, Россию, как высматривал у Гоголя подземный Вий, предводитель нечистой силы, несчастного Хому Брута, простодушного ответчика за мировые грехи.

Александр Третий был хорошим и честным русским царем, но императором он не был. Все свои положительные качества, кроме мощной воли, и все недостатки своих ушибленных государственных воззрений, он передал наследнику, по восшествии на престол Императору Николаю Второму.

С начальных же дней трагического царствования этого последнего русского царя стало ясно, что имперская идея утрачена верхами безвозвратно, и что правая реакция, вызванная личной волей Александра Третьего, пошатнется от первого испытания, от малейшего, снизу направленного толчка, стоит только революционным вожакам умело противопоставить правительственной безыдейности, свою, пусть злую и смертоносную, но во всяком случае взрывчатую идею. А между тем, подлинно творческие силы российской нации к этому времени еще далеко не иссякли. Не поддержанные правой реакцией и презираемые многочисленными последователями русского нигилизма, наследниками Чернышевского, сумевшими, кстати сказать, несмотря на правительственные строгости, захватить печать в свои руки, эти творческие силы на-

чали проявлять себя с конца XIX-го века в единственно возможном направлении — в области художественной литературы и искусства.

Люди вкуса, ума и таланта дружно восстали против установленной левыми «анти-эстетической» цензуры. Если бы только Двор и вообще правительственные сферы, по примеру старинных времен, нашли в себе достаточно такта, остроты и энергии, чтобы деятельно поощрять этих зачинателей нового, они приобрели бы себе сильного союзника, глубоко ненавидевшего пыльную паутину, сотканную левыми, сумевшими за какие-нибудь три-четыре десятилетия почти полностью покончить с российским искусством. Но в том то и заключалось горе, что у правительственных кругов в те годы не было ни государственного такта, ни энергии, ни любви к художественному творчеству. Правители и омертвевшая бюрократия не понимали, какие громадные силы многообразного воздействия скрываются в искусстве. Даже простое меценатство, неизменно присущее в монархических странах правящей верхушке, окончательно перешло к началу XX-го века к московским купцам, занявшим, в сущности, всего лишь пустое место. Только музыка и балет, очевидно, признанные в политическом отношении безопасными, продолжали пользоваться поддержкой Двора, вплоть до февральского развала и, как всем известно, были чудом совершенства и сильной опорой правительства в делах внешних и внутренних. Но наши правительственные круги конца девятнадцатого и начала двадцатого века забыли те благодатные для российской монархии дни, когда наделяла Екатерина Великая чинами, орденами, имениями, червонцами и золотыми, осыпанными бриллиантами табакерками, не только своих фаворитов и доблестных генералов, но и Державина и Фонвизина; когда поддерживал Александр Первый и денежно, и морально, Карамзина; когда всячески поощрял Николай Первый Крылова, Жуковского, Пушкина, Гоголя, Кипренского, Александра Иванова и многих других писателей и художников; когда, в чаянии толка от Льва Толстого, участвовавшего в чине поручика в Севастопольской кампании, Император писал Глав-

нокомандующему, повелевая ему не назначать в опасные места «надежду отечественной литературы», будущего автора «Анны Карениной». Правда, на старости лет, сидя на досуге в Ясной Поляне, Толстой сторичей отплатил Императору за заботы, назвав его в своем «Хаджи Мурате» «Николаем Палкиным». Но странно было бы ожидать иной благодарности от престарелого моралиста и сектанта, упоенного мировую славою.

Все, по-настоящему одаренные, писатели, поэты и художники конца XIX-го и начала XX-го века, не взирая на полнейшее равнодушие верхов и презрение левых, быстро покорили широкую публику, инстинктом искавшую опоры в каком-либо новом жизнедеятельном почине. Такой успех был немедленно отмечен руководителями левых журналов и издательств, умевшими, когда надо подавлять в себе неприязнь и привлекать к сотрудничеству чужеродные, в политическом отношении, неопытные силы. Вскоре вышло так, что все талантливые служители пера, за чрезвычайно редким исключением, очутились в левом лагере, на услужении у народников и марксистов.

Давно известно, что по журналам и издательствам творит атмосферу не искусство, а политика. Художественное произведение автора левого или правого, или же ко всему, кроме поэзии, равнодушного, при напечатании, невольно получает особую окраску от окружающих его политических статей. Они своим соседством политически обезвреживают идейно им чуждое творение, или же резко подчеркивают его приятные для них социальные тенденции. Так например, стоило бы Розанову опубликовать свои религиозно-метафизические и одновременно художественные размышления не в «Новом Времени», а в каком-либо левом журнале, как они тотчас же зазвучали бы для публики на иной лад. Или, скажем, стоило бы Блоку напечатать свои стихи о «Прекрасной Даме» не в левом модном журнале, а в том же «Новом Времени», о они сошли бы у читателя за нечто вполне ортодоксальное.

Вывод отсюда один: левые действовали хитро, а прави-

тельство поступало, по меньшей мере, недальновидно. Благодаря той же недальновидности, русская литература во всех учебных заведениях, распоряжением свыше, толковалась по Белинскому, и потому русские классики представлялись учащимися бравурными борцами за свободу и социальную справедливость, попираемую царским режимом.

Не считаться в государстве с какою бы то ни было духовною энергией, не стараться привлечь ее на свою сторону, есть предел близорукости. Высшие власти при Императоре Николае Втором пренебрегли силою слова, и оно, само того не ведая, всею своею мощью обратилось на них. Для обнаглевших, когда-то подпольных революционных героев, наступала светлая пора. Они, поскольку позволяла еще не совсем упраздненная царская цензура, усиленно витийствовали по газетам и журналам, в ожидании особо благоприятного денечка. Тем временем, произошедший еще при Александре Третьем роковой поворот спиною к Западу и лицом к Востоку привел нас к ненужной, во всех отношениях нелепой дальневосточной войне. За эту неуместно проявленную воинственность Российская Монархия заплатила собственной жизнью. Первой расплатой за неудачную бесцельную войну была кровавая революционная проба 1905 года. И Бог знает, чем могла бы она кончиться, если бы не личная железная воля Дурново, беспощадно ответившего на насилие насилием.

Все как бы притихло, за исключением разнуздавшейся левой печати, обрадованной отменой цензуры, и демагогических выкриков Государственной Думы, несвоевременно, ибо в виде уступки, дарованной Монархом.

Спохватившееся царское правительство распустило Государственную Думу первого созыва, но Выборгское воззвание, подписанное многими, по внешности вполне почтенными личностями из клана либерал-спекулянтов, тотчас же показало, что разложение общества уже достигло своего гибельного предела. Однако, власть имущие круги, казалось, не понимали этого. Ведали и ясно сознавали страшную опасность только люди религиозно-эстетического склада, по-

прежнему игнорируемые правительственными сферами. А ведь уже в 1907 году Мережковский открыто писал, обращаясь ко всем западным народам:

«Всей Европе, а не только какой-нибудь отдельной европейской нации, придется рано или поздно иметь дело с русской революцией или анархией. Ибо невозможно теперь уже определить то, что происходит в России: есть ли это только изменение политической формы, или прыжок в неизвестное, разрыв со всеми существующими политическими формами... Тем не менее ясно, что эта игра опасна не только для нас, русских, но и для вас — европейцев. Вы следите острым взором и с обеспокоенным вниманием за ходом русской революции, но все же со взором недостаточно острым, и со вниманием, недостаточно обеспокоенным: то, что происходит у нас, страшнее, чем вы думаете. Нельзя сомневаться в том, что, горя, мы не подожжем в конце концов, и вашего дома?..» «Сила землетрясения, от которого разрушится тысячелетнее здание России, будет так могущественна, что все старые парламентские лавочки повалятся от нее, как карточные домики. Ни одна из этих лавочек не удовлетворит русскую революцию. Но тогда — что же удовлетворит ее и что будет потом? Это будет, очевидно, прыжок в неизвестное... полет в воздухе вверх тормашками».

В этом дальновидном и в то же время наивном воззвании есть подлинное ощущение бездны, которая вот уже тридцать семь лет, как поглотила Россию, и ныне своим отверстым зевом поджидает, быть может, слишком поздно и недостаточно смутившуюся и испугавшуюся Европу. Да, воззвание Мережковского, при всей своей прозорливости, было не лишено и наивности, ибо весьма переоценивало умственные способности европейских и американских правителей и зоркость так называемого общественного мнения цивилизованных стран. Только через много лет, в эмиграции, узнал Мережковский, а вслед за ним узнали и мы, чего стоит общечеловеческая и в особенности буржуазная косность.

Смуту 1905 года царская власть подавила беспощадно. И не к лицу было профессиональным подстрекателям к грабежу и насилиям жаловаться на жестокость правительства. Ведь твердили же они всегда: «революция не делается в белых перчатках». На это их заявление справедливо отвечает Бунин в своих «Окаянных Днях»: «что же возмущаться, что контр-революции делаются в ежовых рукавицах».

Как бы то ни было, но по усмирении мятежа, Россия, пользуясь затишьем, начала богатеть. Такого благосостояния, такого могучего экономического роста она никогда еще не видывала. О российском материальном богатстве, в годы, непосредственно предшествовавшие февральской катастрофе 1917 года, говорили и писали все добросовестные экономисты, все трезвые, беспристрастные наблюдатели отечественной жизни. Война 1914 года не только не помешала все растущему народному благосостоянию, но по многим причинам еще приумножила его. В особенности богатели крестьяне. Вспоминая об этом в «Окаянных Днях», кстати сказать впервые опубликованных в «Возрождении», Бунин — всегда правдивый и верный свидетель жизненных событий — приводит свой ответ деревенским бабам, расточавшим лицемерные жалобы на войну и трудные обстоятельства: «Эх, бабы, как не грех и не стыдно! Кто же это из вас умирает? Сроду никогда не жили так сыто. Сколько теперь денег на каждом дворе! Курицы на всей деревне не купишь ни за какие деньги, — все сами едите. А уж про ваш двор и говорить нечего. Ну-ка, скажите, сколько у вас скотины?»

Да, в последнее десятилетие перед проклятым февралем Россия невиданно богатела и уж конечно не без прямого содействия правительства. Благодаря разумным распоряжениям высших властей и замечательной, ни с чем по совершенству не сравнимой российской администрации, улучшались железнодорожные и речные сообщения, развивалась внутренняя и внешняя торговля, укреплялись финансы, идеально работали учреждения по переселению малоземельных крес-

тъян, умножались средние учебные заведения по всем специальностям, улучшалось преподавание в сельских школах, открывались новые высшие учебные заведения, строились усовершенствованные городские и сельские больницы, и начавшаяся война, при всех ее тяготах и превратностях, сулила несомненную полную победу над врагом и еще никогда до того не испытанную, по величию, отечественную славу. И все же началась революция! И все же она не могла не начаться! Ибо не одним хлебом будет жив человек, и там, где нет идеи, водворяется лжеидея. Революция должна была зародиться от потери имперской идеи, утраченной сначала верхами, а потом и всей центральной Россией, ее ведущим ядром. Замечательно при этом, что все российские украинцы, приобщившиеся к имперской жизни позднее центра, и когда-то на него восстававшие, в первые годы лихолетия и гражданской войны оказались верны священному делу Петра. Опираясь не на одну, а решительно на все украинцы, организовалось и разрослось белое движение, начатое, как известно, горсточкой офицеров, верных имперской идее. Пишущий эти строки был одним из них, гордится этим и, не колеблясь, утверждает, что белая армия в недрах своих оставалась глубоко имперской, несмотря на прилипшие к ней или, точнее, сидевшие у нее в тылу и на шее многочисленные духовно чужеродные элементы, из которых самым вредным и разлагающим надо считать участников и сторонников февральских безобразий.

Российская монархия погибла от собственной безыдейности, от подмены вселенского православия бытовым исповедничеством, имперской идеи — славянофильскими народническими бреднями, от нелепой, из пальца высосанной веры в сусального и смиренного «мужичка вообще», оказавшегося в действительности, хотя бы в лице Распутина, совсем не сусальным и не смиренным.

Я, конечно, весьма далек от того, чтобы так или иначе оправдывать презренную, чудовищную по своей глупости клевету, возведенную в те годы на Государя и его Семью, светлыми личностями от революции. Нет, близость Распу-

тина ко дворцу, на мой взгляд, была полезным делом, поскольку удавалось этому крестьянину облегчать неизлечимую болезнь Наследника-Цесаревича. Но, к величайшему несчастью Распутин стал для Двора всероссийским символом победоносного народничества, воплощением славянофильских чаяний и чем-то вроде некрасовского дяди Власа, богомольного странничка, слащаво осеняющего крестным знаменем заведомо святую и праведную мужицкую Русь.

Гибельная тяга дворца к мужичку-богоносцу не ограничивалась благоволением к Распутину. Упоенные революционными сплетнями, россияне как-то совсем не заметили, что незадолго до февральского крушения успел таки, по высочайшему приглашению, побывать во дворце и удостоиться царских милостей любимец петербургских литературных снобов, загримированный под народного баяна, стихотворец Есенин. Этот скандалист и хулиган бил по кабакам и притонам зеркала и посуду и читал по сомнительным салонам свои стишки, посвященные все тому же русскому мужичку, которому от настойчивых поминаний, несомненно, икалось бы круглые сутки, будь его сусальный двойник, порожденный дружными усилиями Двора, крамолы и разбойников пера, хоть чуточку похож на него — действительного и живого.

Российскую Империю погубили выдумки, разрыв с реальностью, ряд роковых фальсификаций, подмена высшей идеи уничтожительной идейностью, идиллиями, идеализмом и идеальничаньем. Неизвестно, читал ли Государь и читало ли его окружение «Деревню» Бунина, жестокое, но правдивое свидетельство о ничем не прикрашенном мужике. «Деревня» вышла в свет до войны 1914 года, в разгаре всеобщего увлечения пряничным селянином, смотря по надобности — и богомольным и богохульным, и буколическим и практическим, и монархическим и социалистическим. Левые народнические журналы, по причинам именно социалистическим, встретили «Деревню» крайне недоброжелательно. Думается, что книга Бунина не имела бы успеха и у Государя, но на этот раз уже по причинам «богомольным». По крайней мере, царский товарищ министр Крыжановский, в своих воспоми-

нениях, напечатанных в свое время в «Возрождении», рассказывает нам, как он однажды увидел на столе у Государя книгу о русской деревне Родионова — произведение, хотя и не весьма художественное, но верное действительности. Государь заметил взгляд, мельком брошенный Крыжановским на книгу, и тотчас спросил товарища министра, читал ли он ее и нравится ли она ему. На утвердительный ответ Государь возмущился духом: он не хотел верить Родионову, ибо придуманный правыми народниками идиллический облик мужичка-богоносца навсегда запечатлелся в его воображении.

Личность Императора Николая II-го совсем не так проста, как старались ее изобразить, а, напротив того, сложна и во многом таинственна. Сознанием он вряд ли улавливал всю неприглядность окружавшей его жизни, но он предвидел сердцем роковые судьбы России и собственную трагическую участь. Царь чувствовал, что надвигается на нас нечто неотвратимое, фатальное, и он все глубже уходил в религию от повседневности, не обещавшей никакого просвета. Обманная греза о мужичке-богоносце, о праведном селянине, была его последней земной слабостью, жалкой и все же утешительной игрушкой, нужной подчас и взрослому. Но, может быть, и другое, совсем другое устремляло к простолюдину мечту обреченного Императора. Быть может, Государь, бесстрашно сменивший в решающий час царский венец на терновый, шел путями, указанными Достоевским, искал для себя и России спасения в религиозной, надсословной, по преимуществу простонародной элите, возникновение которой в крови и трагедии он духовно предчувствовал. Этот рыцарь России и чести, оклеветанный революционным отребьем, остался до конца верен своей мечте, своему видению, умом непостижимому, и лишь на время — если только прав Достоевский — от нас сокрытому. Но до решающей и все выясняющей поры мы теперь обречены на колебания, не ведая, кому же верить: Достоевскому с его чаянием конечного спасения России, добытого кровью и страданием, или Константину Леонтьеву — суровому, беспощадному наблюдателю, присудившему нас

за страшный грех революции к государственной и духовной гибели.

Левые сообщества, хорошо организованные и натасканные в подполье на клевету и сплетни, искусно распускали все новые и новые слухи о правительстве, Дворе и интимной жизни царской Семьи. Эти нелепые, но ядовитые измышления росли и множились и наконец к 1916 году, в самом разгаре войны, достигли своего: развратили и разложили правые круги, высшее и среднее дворянство и даже великокняжеское ближайшее окружение Императора. Здесь снова нельзя не вспомнить «Окаянных Дней», к которым я еще неоднократно буду возвращаться, как к честному, верному и умному свидетельству о русской революции. Эти горестные заметы о нашей гибели, впервые опубликованные в «Возрождении», органически с ним срослись, стали его неотъемлемым идеологическим достоянием, его живой, мучительной и трепетной сущностью. Говорить об «Окаянных Днях» Бунина, это значит излагать общественно-политические взгляды «Возрождения», его истинное отношение к начальным фазам русской революции. К «Возрождению» в целом следовало бы поставить эпиграфом слова Бунина из «Окаянных Дней», сказанные о русской революции и о белом движении:

«Святейшее из званий, звание 'человек' опозорено, как никогда. Опозорен и русский человек, — и что бы это было бы, куда бы мы глаза девали, если бы не оказалось 'ледяных походов'»?! (подчеркнуто мною. Г. М.).

А по поводу безобразных обвинений, возведенных на царскую семью и царских министров так называемым временным правительством Керенского и оказавшихся, после судебного расследования, произведенного этим самым «правительством», чистейшей клеветой и сущим вздором, Бунин писал в «Возрождении»:

«Нападите врасплох на любой старый дом, где десятки лет жила многочисленная семья, перебейте или возьмите в полон хозяев, домоправителей, слуг, захватите семейные архивы, начните их разбор и вообще розыски о жизни этой

семьи, этого дома, — сколько откроется темного, греховного, несправедного, какую ужасную картину можно нарисовать, и особенно при известном пристрастии, при желании опозорить, во что бы то ни стало, всякое лыко поставить в строку.

Так врасплох, совершенно врасплох, был захвачен и российский старый дом. И что же открылось? Истинно диву надо даваться, какие пустяки открылись. А ведь захватили этот дом как раз при том строе, из которого сделали истинный мировой жупел. Что открыли? Изумительно: ровно ничего!».

И тем безнадежнее становится на душе, когда подумаешь, что первыми приступили к непосредственным революционным действиям, к революционному пролитию крови, совсем не левые, а правые люди, или по крайней мере, люди из так называемого правого лагеря, среди которых, в довершение нашего позора и несчастья, находился член императорской семьи, великий князь Дмитрий Павлович. Убийство Распутина, совершенное в разгаре европейской войны, невиданной по размерам, напряжению и трудностям, было первым ударом топора, заблаговременно занесенного над Россией палачами от революции.

Пишущий эти строки находился в эти дни на фронте, на передовых позициях в Галиции, и хорошо помнит, какое страшное впечатление произвела на армию эта бессудная, подлая, подпольная расправа. Престиж царской власти оказался сразу же безвозвратно подорван, и именно потому, что принимали участие в убийстве Распутина член императорской семьи, аристократ Юсупов и правый популярнейший депутат Государственной Думы. Армия в целом рассуждала, как всегда, прямолинейно, по-солдатски: «Если великий князь, аристократ и известный депутат — представитель крупного дворянства — пошли на убийство человека, принимаемого при Дворе самим Государем, то хорош же Двор, хороша же царская семья и хорош же вообще монархический строй». Таким образом, путь к насильственному захвату власти всякого рода профессиональными революционерами был расчищен и предуготовлен правыми. И этого вообще не следует забывать.

Опыт показал, что опрокинуть царскую власть ничего не стоило. Настоящих твердых и неустрашимых монархистов почти не нашлось ни при Дворе, ни среди бюрократии, ни среди высших военных чинов. Они не нашлись только потому, что имперская идея, скреплявшая русскую государственность, была безнадежно утрачена верхами. Восторжествовали, правда, всего лишь на час, как и следовало ожидать, наши старые почтенные знакомцы: либерал-практики (милюковы), либерал-истерики (керенские) и, с первых же дней очутившиеся на побегушках у своих собратьев по революционному ремеслу, но все же весьма довольные обстоятельствами, либерал-идеалисты (львовы, родзянки). Вкусный пирог государственной власти они захватили заранее потирая ручки и облизываясь. Конечно, не были забыты при этом ни честные гражданские речи, ни устремленные вдаль, преисполненные веры в светлое будущее, горящие юношеские взоры. Одно, пожалуй, было лишним на радостях: наглые ссылки на бескровность «святой и великой», — ведь переполненные телами убитых городских мертвецкие безмолвно показывали обратное. Но что с того! Во имя социалистического будущего «вперед, родные, не считайте трупов!».

Да, позы, фразерство и ложь, — вторая бессознательная или, если угодно, подсознательная, натура наших либералов. Они, эти самые либералы, по словам Бунина в «Окаянных Днях», «так извратились в своей профессии быть друзьями народа, молодежи, и «всего светлого», что им самим казалось, что они вполне искренни». «...Я чуть не с отрочества, — продолжает Бунин, — жил с ними, был как будто вполне с ними, — и постоянно, поминутно возмущался, чувствуя их лживость, и на меня часто кричали: — Это он-то лжив, этот кристальный человек, всю свою жизнь отдавший народу!..

В самом деле: то, что называется «честный, красивый старик, очень белая большая борода, мягкая шляпа»... Но ведь это лживость особая, самим человеком почти не сознаваемая, привычная жизнь выдуманными чувствами, уже давно, разумеется, ставшими второй натурой, а все-таки вымышленными.

«...Какое огромное количество таких «лгунов» в моей памяти.

«Необыкновенный сюжет для романа, и страшного романа».

«...Наши дети, внуки, не будут в состоянии даже представить себе ту Россию, в которой мы когда-то (т. е. вчера) жили, которую мы не ценили, не понимали, — всю эту мощь, сложность, богатство, счастье...»

«...Да, уж чересчур привольно, с деревенской вольготностью жили мы все (в том числе и мужики), жили как бы в богатейшей усадьбе, где даже и тот, кто был обделен, у кого были лапти разбиты, лежал, задерживая эти лапти с полной беспечностью...»

Лежал себе, полеживал и уж, конечно, не думал о своих «освободителях». Одному из таких упорных поборников непрощенной народом, «народной свободы», в первые месяцы большевистского торжества все еще порочившему царский строй и уверявшему, что революция была неизбежна и, главное, нужна, Бунин ответил, воспроизводя полностью, сам того не ведая, никогда никем не услышанное пророчество Константина Леонтьева.

«Не народ начал революцию, а вы. Народу было совершенно наплевать на все, чего мы хотели, чем мы были недовольны. Я не о революции с вами говорю, — пусть она неизбежна, прекрасна, все что угодно. Но не врите на народ — ему ваши ответственные министерства, замены Щегловитовых Малянтовичами и отмены всяческих цензур были нужны как летошний снег, и он это доказал твердо и жестоко, сбросивши к черту и временное правительство, и Учредительное собрание, и «все, за что гибли поколения лучших русских людей», как вы выражаетесь, и ваше «до победного конца».

А лет за сорок до революции Константин Леонтьев произнес пророческие слова: «Если бы народ понял, что теперь уже правит им не сам Государь, а какими-то неизвестными путями избранные и для него ничего не значущие депутаты, то скорее простолюдина всякой другой национальности русский рабочий человек дошел бы до мысли о том, что нет

больше никаких поводов повиноваться, а о депутатах он не только плакать бы не стал, но потребовал бы для себя как можно больше земли и вообще собственности и как можно меньше податей. За свободу же печати и парламентских прений он не станет драться».

Невозможно придумать ничего нелепее и одновременно лицемернее утверждения, что существует якобы внутренняя, качественная разница не только между нашим «февралем» и «октябрем», но и между русской и так называемую великою французскою революциями. Как будто бы эти различные фазы последовательно развивающегося преступления не составляют единого, в себе неделимого, злокачественного и злодуховного процесса, как будто бы все они не питались одинаково кровью ни в чем неповинных людей, не вырастали из принципиально оправданного насилия, не жили паразитарно за счет чужих, похищенных и присвоенных ими моральных и материальных ценностей.

Наши «февраль» и «октябрь» — прямое продолжение и развитие кровавых и воровских традиций французской революции. Они, подобно ей, возникли из просветительного XVIII-го века, провозгласившего автономные от религии, «естественные» права человека. Такой «просвещенный» и в то же время «естественный» самоутвердившийся человек — сам себе господин и вседержитель вселенной.

Прямым и практическим следствием безбожных просветительских теорий была французская революция. Она, по прекрасному слову С. Франка, обнаружила человеческое существо в его слепом, злом, демоническом начале, отвергавшемся лживым и лицемерным просветительством, она была экспериментальным обличением неправды и поверхностности просветительского гуманизма.

Об этой же самой дьявольской сущности революции говорит Бунин в «Окаянных Днях».

Февраль 1917 года был не чем иным, как абстрактно-идеалистической первичной фазой единого и неделимого революционного зла, это Петруша Верховенский, в дни отрочества крестящий свою подушку по-странному, еще неизжи-

тому суеверию. Но Петруша подрастет, сбросит, как змея прошлогоднюю кожу, свой изжитый идеализм и окончательно утвердится во зле. Говоря иначе, из идеалистического Грановского получится практический Милюков, а из практического Милюкова вылупится цинично-прямолинейный кровавый Ленин. Ведь если поистине бесовская основа марксизма до сих пор все еще не породила в Западной Европе большевизма, то ведь только потому, — как верно замечает С. Франк, — что здесь на западе марксистские теории сочетались и смешались до поры до времени с сентиментально-демократическими учениями просветительского гуманизма. Такая помесь разжиревшего Тартюфа с завистливым бесом социализма сказала здесь не в форме острой одержимости, как в России, а в виде длительного хронического недомогания. Западно-европейские страны, и в особенности Франция, должны за это благодарить Наполеона. Он, по собственному его выражению, своими контр-революционными действиями, «заложил закладку в книгу революции», предупредив, однако, что она рано или поздно, но неизбежно, выпадет. Что ж, всякому овощу свой час! И навсегда останутся верными слова этого минутного Царя Царей, но дивного Кондотьери;

«Что сделало революцию? Честолюбие. Что положило ей конец? То же честолюбие. И каким прекрасным предлогом дурачить толпу была для нас для всех свобода!».

5.

Лишенный, веками созданной, органически возникшей патриархальной власти, одураченный керенскими и милюковыми, русский народ не только послал к черту в турки всех депутатов, Учредительное Собрание, и «до победного конца», но в безумии пробужденных в нем революционной пропагандой темных вожделей, в жажде наживы, анархии и разрушения, ринулся в неведомую бездну, уготованную для него стараниями либералов. Они, эти либералы, за время своего восьмимесячного пребывания у власти, или вернее — у без-

властия, сами тонули, погибали в разлитом море порожденной ими всероссийской паталогической болтовни. «Но язык мой — враг мой», одним языком не проживешь. Брошенный на самого себя и потому ставший не на шутку вполне «суверенным», русский народ, в поисках спасения от правительственного и собственного языкоблудия, в поисках пресловутой «социальной справедливости и правды», набрел на радикальную «Правду» Горького.

По верному замечанию Владимира Соловьева, нет ничего опаснее лжи, содержащей в себе долю истины. Только такая ложь действительно соблазнительна. Марксизм — одно из многочисленных разветвлений варварского лже-мессианизма, одна из многих псевдо-религий, пытающихся заменить собою отвергнутую «передовым человечеством» Голгофу, — и есть не что иное, как хитроумный обман, заключающий в себе известную долю истины. Охотник до «правды», русский народ, стараниями Горьковской «Правды», приобщился к марксизму и узнал с достоверностью достоверно, что религия для людей опиум, что священнослужители далеко не всегда бывают преданы своему духовному призванию, что богатые обижают и эксплуатируют бедных. Словом, в перемежку с ложью, народ лишней раз почерпнул для себя в марксистской пропаганде неопровержимые сведения о греховной природе человека вообще и о пороках высших сословий и состоятельных классов в частности. Отсюда до огульного, слепого принятия всех марксистских положений было рукой подать. Туманно-либеральные посулы и адвокатский многоречивый вздор не так привлекли толпу, как простые и ясные призывы к грабежу и насилию. Под волшебным воздействием марксистского лозунга «грабь награбленное», даровавшего долгожданное «право на бесчестье», снова для народа оказались правыми не Борис Годунов, а Самозванец, не Царь Алексей Михайлович, а Стенька Разин, не Екатерина Великая, а Пугачев и наконец не Колчак и Корнилов, а Ленин, Махно и атаман Григорьев.

Говоря о повторяемости истории, о роковом круговороте событий, Бунин очень кстати приводил в «Возрождении», в

своих «Окаянных Днях», выписки из истории Сергея Соловьева, Костомарова и Татищева.

Вот «Российская История» Татищева:

«Брат на брата, сынове против отцев, рабы на господ, друг другу ищут умертвить единого ради корыстолюбия, похоти и власти, ища брат брата достояния лишить, не ведуще, яко Премудрый глаголет: ища чужого, о своем в оный день възрыдает».

«А сколько дурачков, — говорит Бунин, — убеждено, что в российской истории произошел великий «сдвиг» к чему-то будто бы совершенно новому, доселе небывалому.

Вся беда (и страшная), что никто даже малейшего подлинного понятия о 'русской истории' не имел».

А вот, — продолжает Бунин, — Сергей Соловьев:

«Среди духовной тьмы молодого, неуравновешенного народа, как всюду недовольного, особенно легко возникали смуты, колебания, шаткость. И вот они опять возникли в огромном размере... Дух материальности, неосмысленной воли, грубого своекорыстия повеял гибелью на Русь... У добрых отнялись руки, у злых развязались на всякое зло... Толпы отверженников, подонков общества потянулись на опустошение своего же дома под знаменем разноплеменных вожаков, самозванцев, лжецарей, атаманов из вырожденцев, преступников, честолюбцев...»

Сергею Соловьеву вторит Костомаров:

— «Народ пошел за Стенькой, обманываемый, разжигаемый, ничего не понимая толком... Были посулы, привады, а уж возле них всегда капкан... Шли «прелестные» письма Стеньки — 'иду на бояр, приказных и всякую власть, учиню равенство'»...

Дозволен был полный грабеж... Стенька, его присные, его воинство были пьяны от вина и крови... возненавидели законы, общество, религию... дышали мезтью и завистью... Составились из беглых воров, лентяев... Всей этой сволочи и черни Стенька обещал во всем полную волю, а на деле забрал в кабалу, в полное рабство, малейшее послушание на-

казывалось смертью истязательной, всех величал братьями, а все падали ниц перед ним»...

«Не верится, — добавляет Бунин к словам Костомарова, — чтобы ленины не знали и не учитывали всего этого».

Бунин бесспорно прав, — отлично знали ленины историю русских бунтов и мятежей, прекрасно учитывая все разбойное, бунтарское в русском характере и этим скрепляли, на этом строили с помощью сталиных свое царствование.

...«Всякий русский бунт, — говорит Бунин, — (и особенно теперешний) прежде всего доказывает, до чего все старо на Руси и сколько она жаждет прежде всего *бесформенности*. С покон веку были 'разбойнички' — муромские, брянские, саратовские, бегуны, шатуны, бунтари против всех и вся, ярыги, голь кабацкая, пустосвяты, — классическая страна буяна. Был и святой человек, был и строитель, высокой, хотя и жестокой крепости. Но в какой долгой и непрестанной борьбе были они с буяном, разрушителем, со всякой крамолой, сварой, кровавой неурядицей и нелепицей!».

Все это очень верно. Но в одном ошибался Бунин и, вслед за ним, в первые годы своего существования, ошибалось и «Возрождение».

Между всеми историческими русскими бунтами, вместе взятыми, и русской революцией 1917 года есть величайшая и во веки веков неистребимая разница. Все наши исторические мятежи и смуты были одинаково явлением душевно-биологического порядка, они начинались и развивались всегда оголтело, безыдейно, самотеком. При этом, религиозная идея православия и государственная идея великокняжения и самодержавия, созидавшие Русь и Россию, никогда не померкали ни в творческом центре страны, ни в душах отдельных русских людей, проживавших по украинам. Религиозно-государственная основа была так тогда жива и сильна, что предводители наших крупных бунтов, неизменно возникавших на периферии, вынуждены были в расчете хотя бы на временный успех, принимать на себя царское звание и опираться по крайней мере на какого-нибудь попа-расстригу. Без воровских ссылок на камилавку и шапку Мономаха рус-

ский бунт не мог бы состояться. Наши исторические смуты возникали не под влиянием лже-идеи, вбиваемой проходимцами в народные головы, а как раз от отсутствия какого бы то ни было замысла и даже простого соображения. В некоторой, весьма ограниченной, степени составлял исключение один Стенька Разин: в его разбойной башке бродили какие-то жалкие обрывки социалистических и следовательно по-настоящему революционных доммыслов. Но говоря вообще, все русские бунты, мятежи и смуты, периодически усмиряемые правительством при помощи топора и дыбы, являли собою не что иное, как безоглядное буйство очень молодого народа, еще не приобщенного к миру светлых или темных идей.

Придерживаясь определений Баратынского, надо сказать, что наши исторические бунты были «безумием забав», животным разгулом страстей, но не «пиром злоумышления». Словом, нет ничего общего, кроме кровавой видимости, между бунтом душевно биологическим, возникающим само-теком, и бунтом идейным, сознательно организованным и потому злодуховным.

Этого не учитывал Бунин.

Исходной точкой революции в целом послужило основное положение просветительского гуманизма XVIII-го века: «Человек автономен от Бога, он сам себе господин и устроитель собственной и мировой судьбы».

Но если в первичной, французской, фазе своего развития революция еще опиралась на убогую веру в моральное достоинство человека, как такового, взятого изолированно, вне его связи с Богом, то ведь за долгий период, отделивший французский революционный опыт от опыта русского, организованный бунт, загнанный на время Наполеоном в подполье, успел идеологически окончательно созреть и опереться. Начальная наивно-«буржуазная» вера в положительные нравственные качества «царя природы», взятого самого по себе, оказалась решительно отброшенной при дальнейшем безостановочном росте идей просветительского гуманизма. Уже в сороковых годах прошлого столетия просветительский

гуманизм перерождается в марксизме в гуманизм натуралистический и тем самым, по глубокому замечанию С. Франка, превращается в гуманизм *сатанинский* и бесповоротно самоистребляется. Такой кризис просветительских идей, по совершенно верному утверждению С. Франка, был отмечен у нас впервые Гоголем. Автор «Мертвых Душ» «своим художественным взором увидел у человека звериную морду, а своей религиозной мыслью — теоретически довольно беспомощной — ясно сознал одно: — человечество охвачено демоническими, дьявольскими силами и несется к какой-то ужасной катастрофе».

«У Маркса, — говорит С. Франк, — дело идет не просто об оправдании земной плотской природы человека; сущность экономического материализма и учения о классовой борьбе заключается в том, что именно силы зла — корысть, злоба, зависть — суть единственные подлинные двигатели человеческого прогресса. Все возвышенное, духовное, благородное в человеке, *принципиально* отвергается: лишь предавшись *сатанинским* силам, человек может осуществить свою цель на земле. Здесь образ человека *окончательно* меркнет; и не случайно, что именно в этой же связи вера в человеческую личность сменяется верой в безличное чудище «коллектива», «пролетариата».

Таким образом, перед подлинным, апокалиптическим ликом революции наш доморощенный «февраль», с его устаревшей верой в самодовлеющего «царя природы», был только провинциальным азиатским пережитком, запоздалым отзвуком, изжитого скептическим западом, просветительного гуманизма, ставшего давно для европейцев практически все еще необходимой, но вполне лицемерной идейной проформой. Закладка, заложенная Наполеоном в книгу революции, выпала, а заодно повалились и неосторожно с нею поигравшие смехотворные февральские лицедеи. Затверженные либералами революционные зады нашей революции негодились: она легко превратилась на русской почве в сознательно организованное, безбожными сердцами оправданное, марксизмом хитроумно систематизированное бесовское зло. И это зло,

именно в силу своей демоничности, совсем иного качества, иного состава, чем наши мятежи и смуты, чем наше греховное, но всего лишь душевно-биологическое буйство. «Русский бунт, бессмысленный и беспощадный» оседлала дьявольская система, воспользовалась им, но осталась по отношению к нему вполне инородным инфернальным явлением.

Революция, впервые в мире проявившая себя во Франции, осуществила в русской фразе своего развития нечто безмерно страшное, *доселе небывалое, поистине совершенно новое*. К пониманию этой истины вплотную подходил Бунин в «Окаянных Днях», но все же завершающего слова не сказал.

Во всяком случае, Бунин чувствовал, что революция есть некая тайная злая сила, стремящаяся осмыслить по-своему бессмысленный народный бунт и направить его к неведомой и страшной цели.

Вот, что говорит он по этому поводу в «Окаянных Днях»: «Да, конечно, это что-то нечеловеческое. Люди совсем недаром тысячи лет верят в дьявола. Дьявол, нечто дьявольское несомненно есть».

«Все надевали лавровые венки на вшивые головы, — продолжает Бунин, приводя выражение Достоевского. И тысячу раз прав был Герцен:

— «Мы глубоко распались с существующим...»

Впрочем, многим было (и есть) просто невыгодно не распадаться с существующим. И «молодежь», и «вшивые головы» нужны были как пушечное мясо. Кадили молодежи, благо она горяча, кадили мужику, благо он темен и «шаток». Разве многие не знали, что революция есть только кровавая игра в перемену местами, всегда кончавшаяся только тем, что народ, даже если ему и удалось некоторое время посидеть, попить, побушевать на господском месте, всегда в конце концов попадает из огня да в полымя? Главариами, наиболее умными и хитрыми, *вполне сознательно* приготовлена была издевательская вывеска: «Свобода, братство, равенство, социализм, коммунизм». И вывеска эта еще долго будет висеть — пока совсем крепко не усядутся они на шею

народу... «Ведь что же было, — говорит Достоевский, — была самая невинная либеральная болтовня... Нас пленял не социализм, а чувствительная сторона социализма.....» Но ведь было и подполье, а в этом подполье кое-кто отлично знал, к чему именно он направлял свои стопы, и *некоторые, весьма удобные, свойства русского народа*. (Подчеркнуто мною. Г. М.).

Да, поистине остается только поражаться наивной самолюбленности и одновременно наглости наших либералов, продолжающих и здесь, за границей в эмиграции, «высоко нести знамя настоящей, идейной, великой и бескровной февральской революции».

Ведь эти либералы и теперь еще вполне убеждены в том, что именно они спасут Россию. Изумительно!

«На редкость твердо, — писал в 1926 году в «Возрождении» Бунин, — уверены все эти Пешехоновы, что только им принадлежит решение российской судьбы. И когда же? Когда они должны были бы в тартарары провалиться, хотя бы от одного стыда за все то, что они явили, на диво всему миру, за свое шестимесячное царствование в 17-м году».

Здесь необходимо заметить, что Бунин, во-первых, забыл глубоко русскую поговорку из цикла наимудрейших: «Стыд не дым — глаза не ест» и, во-вторых, ошибся: не шесть, а без малого восемь месяцев процарствовали в России наши благодетели. Зачем же отнимать у людей, и без того обойденных судьбою, почти два месяца ликований, самоупоений и излюбленного празднословия. Ведь все без исключения революционные деятели любят, захватив «бразды правления», как они выражаются, по крайней мере на первых порах, позабавиться, поболтать, покуражиться, ибо, как справедливо замечает Бунин: «одна из самых отличительных черт революции, — бешеная жажда игры, позы, балаган. В человеке просыпается обезьяна».

А это и значит, что на путях революции человек утрачивает собственную личность, духовно регрессирует, превращается в животное, в о-безь-я-ну, становится существом без «я».

Но здесь мы наблюдаем всего лишь первую, если угодно, «февральскую» стадию революционного регресса, когда личность, начало духовное, образ Божий в человеке подменяется началом исключительно душевным, характером, индивидуальностью, имеющимися и у животного. Во-второй же «октябрьской», стадии революционного вырождения, человек теряет и характер, лишается индивидуальности и обращается в насекомое, в подобие механизированного муравья, работающего по своей специальности в общей куче, на общее злое дело. При таком окончательном распаде и уничтожении личности, просветительский гуманизм, принятый к руководству нашим «февралем», оборачивается гуманизмом натуралистическим, по определению С. Франка — сатанинским, и обнаруживая тем самым свою духовную несостоятельность, погружается в небытие, превращается по слову Достоевского, в гу-гу.